

ЭЛЕНА ФЕРРАНТЕ ДНИ ОДИНОЧЕСТВА

*Перевод с итальянского
под редакцией Инны Безруковой*



издательство **АСТ**
Москва

ГЛАВА 1

Однажды в апреле, сразу после обеда, мой муж вдруг заявил, что решил уйти от меня. В это время мы убирали со стола, дети, как обычно, ссорились в соседней комнате, а собака, тихо урча, дремала возле батареи. Он сказал, что совсем запутался и его одолевают приступы усталости, досады, а быть может, и мелодушия. Он долго говорил о пятнадцати годах, что мы прожили в браке, и о наших детях; добавил еще, что ни в чем не винит ни детей, ни меня. Вел он себя по обыкновению очень сдержанно, за исключением резкого жеста рукой, когда с каким-то детским выражением лица принялся объяснять, как некие странные приглушенные голоса зовут его неведомо куда. Взяв всю вину на себя, он тихонько вышел из квартиры, а я, не в силах пошевелиться, так и осталась стоять возле раковины.

Всю ночь, одна в огромной супружеской кровати, я только об этом и думала. Сколько я ни переби-

рала в уме последние годы брака, я так и не поняла, из-за чего наши отношения дали трещину. Я хорошо знала мужа — человеком он был спокойным, дорожил и домом, и семьей. Нам все еще нравилось разговаривать друг с другом, обниматься и целоваться, иногда он смешил меня буквально до слез. Я просто не могла поверить, что он и в самом деле решил уйти. Вспомнив, что он не взял ничего из дорогих ему вещей и даже не попрощался с детьми, я подумала, что не стоит беспокоиться — все обойдется. Наверное, он переживал один из тех моментов, о которых пишут в книгах, — когда главный герой слишком бурно воспринимает обычную неудовлетворенность жизнью.

Кстати, это было не впервые: воспоминания нахлынули с такой силой, что я беспокойно заворочалась в постели. Однажды, много лет назад, мы и знакомы-то тогда были всего шесть месяцев, он, поцеловав меня, сказал, что не хочет больше со мной встречаться. Я была влюблена в него по уши, от этих слов у меня застыла в жилах кровь, а руки стали холодными как лед. Меня начало колотить. Он ушел, а я все так и стояла у каменного парапета Сант-Эльмо, не сводя глаз с поблекшего города и моря. Но спустя пять дней он все-таки позвонил и смущенно сказал, что поступил так потому, что вдруг утратил смысл жизни. Эти его слова надолго западали мне в голову.

Через пять лет все повторилось. В то время мы сблизилась с Джинной, его коллегой по Политеху. Это была умная и образованная женщина из состоятельной семьи, незадолго до того овдовевшая и в одиночку воспитывавшая пятнадцатилетнюю дочь. Мы всего несколько месяцев как переехали в Турин, и она нашла

нам прекрасную квартиру с видом на реку. Поначалу город меня не впечатлил, он показался мне каким-то железобетонным; но скоро я поняла, как это здорово — наблюдать с балкона за сменой времен года: осенью парк Валентино из зеленого становился желтым или багряным, с деревьев неспешно облетали листья, они кружились в тумане и устилали серую гладь По; весной с реки дул резвый ветерок, поигрывавший молодой порослью и ветвями деревьев.

Я быстро освоилась на новом месте. Еще бы — ведь мать с дочерью так старались мне помочь: показали город, свели с лучшими торговцами... Но от всего этого разило фальшью. Я была уверена, что Джина влюблена в Марио. Слишком много жеманства от нее исходило; иногда я его подкалывала, намекая, что опять звонила его пассия. Он смущался, но было видно, что ему это льстит. Мы вместе подшучивали над Джиной, однако же она все прочнее входила в нашу жизнь — и дня не миновало без ее звонка. Эта женщина то просила съездить с ней куда-нибудь, то приплетала дочь Карлу, которую нужно подтянуть по химии, то разыскивала некую редкую книгу...

Стоит сказать, что она всегда была к нам весьма щедра: приносила мне и детям подарки, одалживала свою машину, давала ключи от загородного дома в Кераско, чтобы мы провели там выходные. Мы охотно принимали — ведь это было так удобно, даже с учетом того, что мать с дочерью в любой момент могли нагрянуть и внести сумятицу в наш привычный уклад. Однако за любое одолжение нужно было платить очередной любезностью — вся эта вереница уступок опутывала нас, словно цепью. Марио превра-

тился в наставника девочки, взвалил на себя обязанности ее умершего отца — ходил в школу разговаривать с учителями и стал даже, хотя у него было полно своей работы, заниматься с ней химией. И что тут прикажете делать? Я старалась не спускать с вдовы глаз, мне совсем не нравилось, как она брала Марио под руку и, смеясь, что-то нашептывала ему на ухо. Но в конце концов все прояснилось. Стоя в дверях кухни, я увидела, как маленькая Карла повисла на Марио в коридоре после урока и, вместо того чтобы чмокнуть в щеку, поцеловала его в губы. Тут до меня дошло, что опасность исходит не от матери, а от дочери. Девчонка, возможно, сама того не понимая, испытывала на моем муже привлекательность своего округлившегося тела и волнующего взгляда; он же смотрел на нее, как человек, который, находясь в тени, изучает белую стену, опаленную солнцем.

Мы поговорили об этом, но спокойно. Я терпеть не могла громких криков и резких жестов. В моей семье отношения выясняли довольно бурно. Помню, как подростком я часто пряталась, зажав уши руками, в каком-нибудь уголке нашей квартиры в Неаполе, оглушенная шумом дорожного движения на улице Сальватор Роза: мне казалось, что я нахожусь внутри грохочущей жизни, которая может разлететься на куски от одной неосторожной фразы, одного неловкого движения. Поэтому я приучила себя говорить не много и по существу, никогда не спешить, не бежать за уходящим автобусом, не торопиться с ответом и заполнять паузы в беседе нерешительными взглядами и смущенными улыбками. Да и работа меня дисциплинировала. Я уехала из родного горо-

да, чтобы никогда туда больше не возвращаться, и два года проработала в бюро жалоб одной авиакомпания в Риме. Выйдя замуж, я уволилась и стала ездить с Марио туда, куда его посылали по службе. Новые страны — новая жизнь. Чтобы не выдать этого своего страха перемен, я раз и навсегда приучила себя терпеливо ждать, пока все треволнения улягутся и я смогу говорить ровным, спокойным голосом, который меня уж точно не выдаст.

Эта моя самодисциплина прилась как нельзя кстати во время прошлого небольшого кризиса в наших отношениях. Ночи напролет мы спорили шепотом, чтобы нас не услышали дети и ненароком брошенное слово не ранило слишком глубоко. Марио говорил туманно, как пациент, который не может точно описать свои симптомы. Мне так и не удалось выведать у него, что он чувствовал, чего хотел и что ждет меня в будущем. Однажды он вернулся с работы сильно напуганным, или, может, это был не страх, а отражение испуга, написанного на моем лице? Как бы там ни было, он собирался сказать мне что-то, но вдруг, в мгновение ока, передумал и произнес нечто совершенно иное. Я в этом точно уверена, мне даже показалось, что я видела, как слова меняются прямо у него на языке. Однако я прогнала любопытство прочь и не стала выяснять, от каких именно слов ему пришлось отказаться. Мне хватило и того, что сложный период миновал — все обернулось недолгим увлечением. Я потерял смысл жизни, несколько высокопарно произнес он, прибегнув к тому же выражению, что и много лет назад. Чувство завладело им, лишив возможности видеть и слышать; однако теперь с этим по-

кончено — больше его ничто не беспокоит. На следующий же день он отказался от встреч с Джиной и Карлой, бросил уроки химии и снова стал тем человеком, которого я знала.

Это были единственные сложные моменты нашей совместной жизни — той ночью я проанализировала их до мелочей. Затем, измученная бессонницей, я поднялась с постели и заварила ромашку. Марио так устроен, сказала я себе: годами он абсолютно спокоен, а потом какая-нибудь мелочь совершенно выбивает его из колеи. Сейчас его тоже что-то беспокоит, но волноваться не о чем — нужно просто дать ему время прийти в себя. Я долго стояла у окна и смотрела на темный парк, прижав лоб к холодному стеклу, чтобы утихомирить головную боль. Очнулась я от звука подъехавшего автомобиля. Нет, это был не Марио. Я увидела музыканта с четвертого этажа, некоего Каррано, который шагал, сгорбившись и взвалив на плечи футляр с невесть каким инструментом. Когда он исчез под сенью дворовых деревьев, я выключила свет и легла. Это вопрос нескольких дней, затем все наладится.

ГЛАВА 2

Прошла неделя, а мой муж не только не передумал, но и с каким-то безжалостным благоразумием утвердился в своем решении.

Поначалу он приходил домой каждый день всегда в одно и то же время — около четырех пополудни. Занимался детьми — болтал с Джанни и играл с Иларией, а затем они втроем отправлялись на прогулку, иногда вместе с Отто, нашей добрейшей немецкой овчаркой — чтобы пес мог порезвиться в парке, принося хозяину палки и теннисные мячики.

Я притворялась, что у меня полно дел на кухне, но всегда с волнением ждала, что Марио заглянет ко мне и объяснится, расскажет, удалось ли ему привести в порядок свои мысли. Рано или поздно он действительно заходил, но неохотно, с неудовольствием, которое с каждым разом становилось все более ощутимым. В свою очередь я следовала стратегии, выра-

ботанной долгими бессонными ночами: сцены ежедневного быта, понимающий тон, показная мягкость, местами сдобренная легкой шуткой. Марио качал головой и говорил, что я слишком добра. От этих слов я размякала и обнимала его, пытаюсь поцеловать. Он немедленно отстранялся, поясняя, что пришел только поговорить, показать мне, с кем именно я прожила все эти пятнадцать лет. Марио описывал свои детские страхи, мерзости, которые он вытворял подростком, болезненные отклонения времен ранней юности. Он старался очернить себя, и что бы я ни противопоставляла этому его страстному самоуничтожению, все было напрасно, муж непременно хотел, чтобы я видела его именно таким — ничтожеством, не способным на настоящие чувства, посредственностью, мало чего добившейся даже в собственной профессии.

Я внимательно его слушала и спокойно отвечала; я не задавала вопросов и не ставила ультиматумов, я лишь хотела дать ему понять, что он может на меня положиться. Однако под моим внешним спокойствием нарастала волна тревоги и злости, которая меня пугала. Как-то ночью я вспомнила черную фигуру из моего неаполитанского детства — полную, энергичную женщину, что жила с нами в одном доме на задворках площади Мадзини. Я часто видела, как она шла на рынок по людным улочкам и тащила за собой троих детей. На обратном пути, груженная овощами, фруктами и хлебом, она подгоняла своих отпрысков, висевших кто на юбке, кто на набитых до отказа сумках, хлесткими, задорными криками. Заметив меня на ступеньках дома, она останавливалась, опускала сумки наземь и, порывшись в карманах, разда-

вала нам — мне, дворовой ребятне и своему потомству — конфеты. Она производила впечатление человека, довольного собственной нелегкой долей, от нее даже всегда хорошо пахло — как от новой ткани. Ее муж, рыжий и зеленоглазый, был родом из Абрुццо. Работал он коммивояжером, поэтому постоянно колесил на своем автомобиле между Неаполем и Аквилой. Единственное, что я помню о нем, — он всегда сильно потел и у него горело лицо, точно от каждой болезни. Иногда я видела, как он играл с детьми на балконе, мастеря им цветные флажки из папиросной бумаги до тех пор, пока жена не звала всех к столу. Затем между ними что-то приключилось. По ночам меня часто будили ее истошные вопли, от которых, как мне казалось, и дом, и переулок вот-вот распадутся на части, будто распиленные гигантской пилой. Протяжные крики и плач разносились по всей площади и терялись в сени пальм, под арками ветвей с дрожащими от страха листьями — муж ушел из дома, потому что полюбил другую женщину, из Пескары, и никто его больше не видел. С тех пор наша соседка рыдала ночами напролет. В своей кровати я слышала этот шумный плач, больше похожий на хрип, который сотрясал стены и вселял в меня ужас. Моя мать судачила об этом со своими помощницами: они кроили, шили и сплетничали, сплетничали, шили и кроили, а я в это время играла под столом булавками и мелом и повторяла про себя услышанные мною слова печали и страха, слова о том, что если не знаешь, как удержать мужчину, то все пойдет прахом; это были женские истории об отцветших чувствах и о том, что случается, когда любовь уходит и ты остаешься не у дел. Тогда

женщина теряет все, даже имя. Может быть, ее и звали Эмилией, но для всех она превратилась в “бедняжку”, теперь между собой ее величали только так. *Бедняжка* плакала, *бедняжка* голосила, *бедняжка* страдала без своего рыжего потеющего мужа с зелеными коварными глазами. Теребя в руках мокрый носовой платок, она рассказывала всем, что муж ушел от нее, вычеркнув из памяти и сердца. Она постоянно крутила этот свой платок в белесых пальцах и проклинала изменника, который сбежал от нее, как дикий зверь с холмов Вомеро. Такое показное горе вызывало у меня отвращение. В мои восемь лет мне было стыдно за нее. Она больше не выходила с детьми на улицу и не источала приятный запах. Теперь она скорбно несла вниз по лестнице свое высохшее тело. Она растеряла пышность груди, округлость талии и бедер; ее широкое лицо больше не светилось молодостью и улыбкой. *Бедняжка* стала кожа да кости, ее глаза утонули в лиловых впадинах, а руки напоминали теперь влажную паутину. Мать сказала однажды: эта женщина превратилась в сушеную рыбину. С того дня я каждый раз провожала ее взглядом, когда она выходила из подъезда без привычных сумок, словно слепая, шатаясь из стороны в сторону. Мне хотелось постичь ее новую натуру, натуру сероватой рыбы — увидеть, как блестят на ее руках и ногах крупницы соли.

Вот из-за этого воспоминания я и старалась вести себя с Марио мягко и понимающе. Однако спустя некоторое время я уже не знала, как реагировать на его экзальтированные истории о детских и подростковых страхах и переживаниях. Дней через десять, когда я увидела, что и детей он стал навещать намного

реже, во мне стала расти обида, к которой добавилось подозрение, что Марио меня дурачит. Мне пришло в голову, что пока я изо всех сил стараюсь выглядеть любящей женой, готовой поддержать его в трудную минуту, он не менее рьяно старается сделать так, чтобы я его разлюбила и заявила: убирайся прочь, видеть тебя больше не могу, ты мне противен.

Скоро подозрение переросло в уверенность. Он хотел убедить меня в неизбежности развода, хотел, чтобы именно я сказала, что он прав и все кончено. Но и тут я воздержалась от необдуманных поступков. Я продолжала вести себя очень осмотрительно, как, впрочем, поступала всегда перед лицом жизненных трудностей. Единственным внешним признаком моего волнения стали равнодушие к беспорядку и слабость рук: чем больше я волновалась, тем чаще все роняла.

Прошло две недели, а я так и не задала ему вопрос, который постоянно вертелся у меня на языке. Не в силах больше сносить вранье, я решила припереть мужа к стенке. Я приготовила его любимый соус с фрикадельками, тонко нарезала картофель, чтобы запечь в духовке с розмарином... В тот день готовка не доставляла мне радости, я была какой-то рассеянной: сначала порезалась консервным ножом, а затем выронила бутылку с вином — осколки и винные потеки были повсюду, даже на желтых стенах. Ну, а потом из-за слишком резкого движения — я хотела достать тряпку — полетела на пол и сахарница. На какую-то долю секунды меня буквально оглушил шум рассыпавшегося сахара, зашуршавшего по мраморной столешнице и по полу, залитому вином. Я по-

чувствовала себя настолько уставшей, что оставила все как есть и отправилась спать, напрочь позабыв о детях и обо всем на свете, хотя было только одиннадцать утра. Проснувшись, я, хотя и не сразу, осознала, что превратилась в брошенную жену, и решила, что с меня довольно. Я машинально вылезла из кровати, навела порядок на кухне и побежала в школу за детьми, а потом вернулась домой и принялась ждать, когда же Марио заявится изображать примерного отца.

Муж пришел под вечер, и, как мне показалось, в хорошем настроении. После нескольких дежурных фраз он исчез в детской и пробыл там до тех пор, пока ребята не уснули. Выйдя оттуда, он хотел было улизнуть, но я почти силком затащила его на кухню, заманив приготовленными днем фрикадельками с запеченным картофелем. Вдобавок я щедро полила темно-красным соусом дымящуюся пасту. Мне хотелось, чтобы при виде всего этого он осознал, от чего отказывается: если он уйдет, больше ему такого никогда не видеть, не нюхать и не пробовать! Но тут моему терпению пришел конец. Не успел он притронуться к еде, как я спросила:

— У тебя другая женщина?

Улыбнувшись и нимало не смутившись, он, показывая, что удивлен столь неуместным вопросом, принялся это отрицать. Однако я ему не поверила. Я хорошо его знала, он держался так твердо, только когда врал; обычно вопросы, заданные в лоб, приводили его в замешательство. Поэтому я продолжила:

— Значит, это правда? У тебя есть другая. Кто она? Я ее знаю?

Затем, впервые с того момента, как закрутилась вся эта история, я повысила голос и закричала, что имею право знать, добавив:

— Да как ты мог давать мне надежду, если уже все решил?!

Опустив глаза и заметно нервничая, он сделал мне знак говорить потише. Теперь ему уже явно было не по себе, вероятно, он не хотел, чтобы проснулись дети. Но у меня в голове крутились все упреки, которые я так долго копила, гневные фразы выстроились в длинный ряд, и мне было наплевать, какие из них я произнесу вслух, а какие нет.

— Не буду я говорить тише, — прошипела я, — пусть все знают, как ты со мной поступил!

Он уставился в тарелку, затем посмотрел мне в лицо и произнес:

— Да, у меня другая женщина.

Потом, с неуместным рвением намотав на вилку изрядную порцию макарон, он отправил их в рот, вероятно, чтобы поскорее умолкнуть и не сболтнуть лишнего. Но главное уже было сказано — наконец-то у него хватило духу признаться. Я же ощутила в груди такую боль, что она вытеснила прочь все другие чувства. Я это поняла, когда заметила, что никак не отреагировала на то, что с ним происходило.

Он принялся жевать, по своему обыкновению очень тщательно, как вдруг во рту у него что-то хрустнуло. Он замер, выронил вилку и застонал. Потом выплюнул все, что было во рту, себе на ладонь: паста, соус и кровь, именно кровь, алая кровь.

Я смотрела на его перепачканный рот совершенно безучастно, как смотрят на слайд на экране. Выта-

рашив глаза, Марио быстро вытер губы салфеткой, сунул пальцы в рот и извлек оттуда осколок.

С ужасом взглянув на него, он продемонстрировал его мне, а затем вне себя от ярости, с ненавистью, которой я за ним прежде не замечала, истерично завопил:

— Значит, так? Так ты решила со мной поступить?! Вот так вот, да?!

Марио резко вскочил, опрокинув стул, но потом поднял его и несколько раз ударил им об пол, словно желая намертво пригвоздить к плиткам. Он заявил, что я всегда была дурой и никогда его не понимала. Никогда, никогда я его не понимала, и только благодаря его терпению, а может быть, и трусости мы прожили вместе так долго. Но теперь с него довольно. Он прокричал, что боится меня, потому что я подложила осколок ему в еду. Значит, я просто сумасшедшая. После этого он ушел, громко хлопнув дверью и ничуть не заботясь о том, что могут проснуться дети.